

Смокуновский 4

1985/III

В фильме «Москва слезам не верит» известные киноактеры Конюхова, Юматов, Харитонов сыграли в одном эпизоде самих себя в молодости. Помните: «звезды» приехали на премьеру. Они поднимаются по ступенькам длинной лестницы, восторженно встречены толпой поклонников. Один из актеров кивает молодому человеку, скромно стоящему в толпе, которого тут же, естественно, принимают тоже за известного актера. У него просят автограф, а он, улыбаясь своей обаятельной, такой знакомой каждому сегодняшнему зрителю улыбкой, отвечает: «Вы меня не знаете: я — Смокуновский».

Теперь уже трудно представить, что тогда, в середине 50-х, его никто не знал. А ведь он успел к тому времени переиграть кучу бессловесных ролей в драматических театрах Красноярска, Норильска, Махачкалы, Волгограда. Он изображал лакеев с широко известной единственной фразой «кушать подано» и лишь мечтал о настоящих ролях. Именно эта мечта заставляла его переезжать из города в город, искать, стучаться и не сдаваться. Иначе как мог он, к 30 годам не создавший ни одной большой роли, бросить почти налаженную жизнь и... приехать в Москву, чтобы обойти один за другим чуть не все столичные театры и везде услышать одно: «Вы нам не подходите!»? Ночевать на вокзале, покупать на последние деньги билеты во МХАТ — самые дешевые, на галерку...

—ИННОКЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ! Выступая по поводу телефильма «Болдинская бессонница», вы писали: «Мне по душе такой художник, которому не все просто дается». В вашей судьбе тоже «не все просто»: в годы войны — фронт, плен, побег, партизанский отряд и снова армия; послевоенные — 40-е и 50-е — борьба за свой талант, за право на актерскую индивидуальность, на большую судьбу. Что давало силу?

— Говорить о судьбе, пожалуй, преждевременно: судьба предполагает законченность, завершенность, а я еще не собираюсь ее завершать. Действительно, откуда брались силы? Наверно, само преодоление препятствий, неприветливых взглядов и закрытых дверей — полного отторжения — способствовало чувству самоутверждения. Потому что, если бы было легко и просто, реактор самоутверждения, веры в себя и свои силы, в то, что я что-то значу, не заработал бы.

Это было неосознанно, но, думаю, было. Хотя... у меня есть фотография. На ней мои первые шаги на сцене, в Красноярском драматическом театре, куда я пошел работать статистом в 42-м году, в 17 лет, и откуда меня через несколько месяцев призвали в армию. На фото я в крошечной бессловесной роли, по ходу которой должен бросить стрелу в Ивана Грозного, но промахиваюсь и убиваю юродивого. На обороте моей рукой написано: «42-й год — начало моего пути».

Много лет спустя, когда мне во многих театрах Москвы говорили, что я не нужен, не подхожу, я шел смотреть спектакли этих театров, чтобы понять, кто же подходит. Смотрел один, два, три спектакля, но актеров, чья работа покорила бы, заставляла не дышать и наслаждаться этим мигом, не видел. Проанализировав увиденное, думал: хочу ли я работать в этих театрах? Нет, во многих не хотелось.

Мне очень нравились мхатовские спектакли «Дядя Ваня», «Мертвые души», «Глубокая разведка». В этот театр меня тянуло, звало, но я не смел показываться: слишком понимал свою несостоятельность.

Мне, одетому в лыжный костюм даже в самые жаркие летние дни (другого-то не было), оставалось смотреть на сцену с верхотуры и наслаждаться. От этого моего «высокого» положения спектакли не становились хуже. Еще помню «Плоды просвещения» — удивительный спектакль!

Не оставил меня равнодушным и Малый театр. Лучшее всего был «Пигмалион» Шоу. Михаил Иванович Царев в роли профессора Хиггинса покорила меня и своим достоинством, и своей замечательной речью. Хороша была и Констанция Роек в роли Элизы Дулитл...

— Что сформировало вас как личность? Сколько вам было лет, когда поняли, что театр — ваше призвание?

— Сформировала сама жизнь — все, что окружало. Детство прошло не в родном доме, а в Красноярске, у бездетных родственников. У моих родителей была большая семья — 9 детей. Жили довольно бедно, голодали. Да, да, было и не без этого. Когда мне исполнилось 5 лет, родители отдали меня из деревни в город, сестре отца — тете Наде.

У тети Нади и дяди Васи мне жилось хорошо; плохо было только, что я рос без сестер и братьев. Жили мы в районе Старого базара Красноярска, с ним связаны самые яркие впечатления детства.

Когда учился в школе, во мне не было ни совершенно ничего такого замечательного, кроме, пожалуй, самостоятельности. Вот самостоятельность мышления, странно, но была у меня и тогда. А может быть, это было упрямство. Помню, как мы решаем на контрольной задачу, и учительница объявляет, что в ней три действия. Я решаю в четыре, потому что вижу, иначе никак нельзя. За моей спиной, слышу, ребята перешептываются: им тоже кажется, что в три действия не решить, но раз учительница сказала, значит, все. Но я оказался в тот раз прав. Вообще-то, в математике я совсем не был силен. Любил литературу, историю и немного географию.

Еще любил бегать на поляну, что недалеко от нашего дома. Это была замечательная, огромных размеров поляна, по

весне затопляемая водой речушки Качи, притока Енисея. О, это было место удивительной свободы и каких-то томсоьеровских мечтаний! О будущем, о призвании тогда еще не думалось. Я и слова-то такого не знал. Это пришло позже — года через два-три, когда перешел в другую школу. Там я увидел первый самодеятельный спектакль и тут же записался в драмкружок.



У нас в гостях народный артист СССР, лауреат Ленинской премии
Иннокентий СМОКУНОВСКИЙ

Настоящий, профессиональный театр в Красноярске был, но впервые я попал туда лет в 14. Не помню, что за пьеса шла, но помню, как поразил меня актер, который с пафосом, бешено вращая белками глаз, с надрывом произносил: «О, металл, ты обманул меня!». И прижимал к груди кинжал. До сих пор ищущий и не могу найти, из какой пьесы это могло быть... Сейчас уже я понимаю, что это было просто дурно по вкусу, но тогда вышел потрясенный его игрой и вообще спектаклем. Должно быть, я был очень добрым зрителем или во мне уже тогда заговорило нутро: попал домой.

В драмкружке мне сразу же дали главную роль — очевидно, в силу уже начавшейся страсти к театру: по глазам было видно, что я очень хотел играть. А может, еще и потому, что, провозакая после первого же занятия нашего руководителя, актера Синицына, домой, я задавал ему странные, нелепые для ребенка вопросы об актерской жизни и профессии. Да, можно считать, что чисто профессиональные вопросы волновали меня лет с четырнадцати. В кружке мне досталась роль Ломова в «Предложении» Чехова — того самого, который спорит со своей невестой о Волковых Лужках и о том, какой был Откатай: подуздоватый или нет. Я должен был убеждать свою невесту в собственной правоте с прониженной страстностью, со слезами на глазах. И уже на спектакле в этом месте меня охватило вдруг ощущение невероятной свободы и счастья, мне

стало хорошо, и я обалдело, истерически захохотал. Это оказалось заразительным. Зрители смеялись тоже. Это было общее непредвиденное, неуправляемое веселье. Я уже перестал что-либо соображать и управлять собой, хохот и истерика управляли теми минутами. В моменты просветления вдруг понимал, что от перепуга делаю совсем не то. Вижу из-за кулис изумленные глаза руководителя и ребят.

Воскресные
ВСТРЕЧИ МК

НИКТО НЕ ЗНАЛ...

Ничего поделать с собой не могу, кроме как продолжать в голос хохотать. Дают занавес, спектакль прекращают, и вот, кажется, моя «актерская» карьера кончилась, еще не начавшись. Из кружка меня, разумеется, выгнали.

— А что было потом?

— Война. В 42-м погиб на фронте отец, а в январе 43-го я был мобилизован и попал в военно-пехотное училище. Учили нас быстро, и в августе того же года я уже был на фронте. Мы, двадцать пятого года рождения, еще успели форсировать Днепр, освободить Киев и Варшаву, брать Берлин. Многие, увы, мои сверстники остались там. Не знаю, можно ли сказать, что погибли лучшие. По-моему, павшие были такими же прекрасными, как все в юности, — сильные, полные надежд и желания жить. Сейчас смотрю на 18-летних и думаю: боже мой, какие дети! Прекрасные, замечательные, но дети. Такими именно мы пошли на войну... Не буду врать — было страшно, хотелось жить, очень хотелось. О патриотизме и гражданственности скажу лишь одно: патриот, с моей точки зрения, — это просто честный человек, любящий свою Родину.

Вы спрашивали, что сделало меня таким, каков есть. Да все вместе, должно быть: армия, плен, побег... Побег требовал немалого мужества: здесь уж точно знаешь, что убьют, а идешь... в надежде жить и быть со своими.

— КАК вы считаете, Иннокентий Михайлович, допустимы ли в жизни хотя бы маленькие компромиссы? Как провести границу: это можно, а это уже нельзя?

— Не могу сказать, что я всю жизнь жил кристально честно. Порой идешь на некоторые обманы, маленькие неправды, которые, впрочем, совсем не влияют на ход обстоятельств, но все равно это же ложь. Понять по-человечески это, пожалуй, можно, но оправдывать такое, думаю, не стоит. Моей дочери Маше было три года, она начала сама подходить к телефону. Однажды я шепнул ей: скажи, что меня нет. Она остолбенела: «Как нет? Вот же ты, тут!». Для нее это был не обман человека, который меня звал, а ОБМАН ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Вот таким — чистым и честным, как ребенок, надо бы быть. Это трудно... но надо.

— Иннокентий Михайлович! Несмотря на признание в своих некоторых недостатках и компромиссах, я уверена: вы никого не отравили, как Сальери, не подчинились власти денег, как Скупой рыцарь или Плюшкин. На что вы опирались, на какой опыт, когда готовились к этим ролям?

— Я действительно совсем не Сальери, то есть абсолютно не он, но в каждом из нас есть его черты. Увы, как это ни печально — это так. Так же, как в каждом из нас есть элементы Плюшкина и Скупого. Вот вы, например, положили рядом с собой вещи: кошелечек, книжечка записная, ключи. И все так славно в футляричках упаковано. И все это вроде изящно и мило, но ведь именно в этом — тоже Плюшкин.

И во мне самом есть черты Плюшкина. Например, еду я на машине мимо отвалов — замечаю старое выброшенное ведро. Вот и пошли всякие мысли: если подкарачить, можно использовать для каких-нибудь надобностей, цветы посадить. А вообще-то, зачем оно мне?

Даже в страшных, чудовищных персонажах нашей классики я вижу не застывшие метафоры, не символы, а живых людей. Гоголя ценит весь мир — потому что он точно и бескомпромиссно написал о своей нации, настолько ярко и исчерпывающе, что это стало интернациональным.

Или Порфирий Головлев — Иудушка. Почему именно в нем воплощена суть определенной помещичьей среды России того времени? Его растленность, развращенность объясняются его неограниченной властью над другими. Когда все позволено, все можно, то человек утрачивает самое высокое в себе — душу. Никаких — ни нравственных, ни моральных преград. «Я так хочу — в этом истина».

— С детства мы привыкли относить Плюшкина к отрицательным персонажам, но у вас он другой, сложнее, возбуждает

больше сочувствие, чем отвращение...

— Плюшкин — заблудший персонаж, а не отрицательный. Заблудший, потому что начал с маленьких компромиссов. Да еще его разаращающая власть над другими... Нет, знаете, это сложно, да и я сейчас боюсь определить неточно. Вот с Иудушкой, но всего себя. «Я люблю тебя, но ничего не дам!» — говорит он сыну тогда, когда у того решается вопрос жизни. Но какая же это любовь? Любовь мне представляется топливом жизни! Любовь есть только тогда, когда ценность другого человека, его «охранная грамота» превалируют над прекрасным ощущением своей любви.

— Иннокентий Михайлович, мы знаем, что у каждого актера существуют свои приемы, свои «траектории перемещения» в образ. Для вас костюм, какой-то реквизит, который вы взяли в руку: трость, ключи, — служат отправным моментом или являются результатом того, что уже наработано?

— Это очень упрощенное представление о нашей работе, да и попросту неверное, простите. Все внешнее — только оболочка. Я еще должен очень серьезно убедить себя, что я не Смокуновский, а тот, другой, что я хочу его желаниями, думаю его мыслями, а не своими. И как они, мысли эти, будут развиваться дальше у него, а не у меня...

— Можете ли вы испытывать чувство ненависти к своему герою?

— Ну, это уж совсем детский вопрос, вроде «А вот, папа, когда я еще не родился, где я был?» Нет, тут вступает в силу чисто рабочая платформа, технология погружения в этого человека: обязательно надо расположить себя к этому персонажу и его к себе. Иначе нельзя «надеть» его образ на себя или, напротив, не «выпрыгнуть» в него. У него бьется мое сердце — так как же он может быть мне чужим?

— А когда играет конкретного человека, подлинное историческое лицо, как вы играли когда-то в кино Чайковского, — тоже вселяете в него что-то свое?

— Вопросы вы задаете, прямо скажем, непростые. Стараясь его черты находить в себе. Всех нас природа рождает богатыми. Потом воспитание, среда, коллектив, обстоятельства, катаклизмы мирового масштаба вытравливают это богатство или, напротив, делают его невероятно многогранным. Тогда мы имеем удивительно прекрасную личность... Такую, как Михаил Ильич Ромм. В моей жизни он значил много: Михаил Ильич — один из первых поверивших в меня. Тогда веры этой так не хватало, никто же не знал... что я — Смокуновский.

Беседу вел
С. НОВИКОВА.